

В. Г. Белинский

Физиология Петербурга



Виссарион Григорьевич Белинский

Физиология Петербурга

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2824115*

Аннотация

Сборник «Физиология Петербурга» (2 части) сразу привлек к себе всеобщее внимание и вызвал большое количество критических отзывов, в большинстве своем враждебных.

В рецензиях Белинский давал суровый отпор всем этим нападкам и особенно выделял такие произведения, как «Петербургские углы» и «Чиновник» Некрасова, «Петербургский дворник» Даля, «Петербургский фельетонист» И. Панаева, в которых главное достоинство – «мысль, поражающая своею верностью и дельностью».

Белинский не дает здесь подробного анализа этих произведений: его рецензии имеют целью прежде всего рекомендовать читателю новую «дельную» книгу, чем и объясняются обширные цитаты, приводимые им.

Содержание

Физиология Петербурга,	4
Физиология Петербурга,	25
Примечания	40
Комментарии	

Виссарион Григорьевич Белинский Физиология Петербурга

Физиология Петербурга,

*составленная из трудов русских литераторов,
под редакцией Н. Некрасова. (С политипажсами.)
Часть первая. Санкт-петербург. 1845. В тип.
Journal de Saint-Petersbourg. В 8-ю д. л. 303 стр.*

Эта книга предлагает пищу для легкого чтения и, действительно, не будучи тяжелою, она и приятно занимает читателя, и заставляет его мыслить. «Физиология Петербурга» – есть род альманаха в прозе, с статьями разнообразными, но относящимися к одному предмету – к Петербургу. Теперь вышла первая часть, содержащая в себе *шесть* статей. Первая статья служит и вступлением в книгу, как бы предисловием к ней, и вместе с тем представляет собою критический взгляд на тот род изданий, к которому принадлежит «Физиология Петербурга». Вторая статья: «Петербург и Москва», г. Белинского, содержит в себе общий теоретический взгляд на обе столицы, со стороны их внутреннего значения. «Отечественные записки» не считают приличным судить о статье г.

Белинского, как своего сотрудника, и ограничиваются только выпискою из нее одного места:

«Известно, что ни в каком городе в мире нет столько молодых, пожилых и даже старых бездомных людей, как в Петербурге, и нигде оседлые и семейные так не похожи на бездомных, как в Петербурге. В этом отношении Петербург – антипод Москвы. Это резкое различие объясняется отношениями, в которых оба города находятся к России. Петербург – центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва ли еще не превышает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «Чем вы занимаетесь?» в Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «Где вы служите?» Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин», «барыня» и т. д. Чиновник – это туземец, истый гражданин Петербурга. Если к вам пришлют лакея, мальчика, девочку хоть пяти лет, каждый из этих посланных, отыскивая в доме вашу квартиру, будет спрашивать у дворника или у самого вас: «здесь ли живет *чиновник* такой-то?» хотя бы вы не имели никакого чина и нигде не служили и никогда не намеревались служить. Такой уж петербургский «норов»! Петербургский житель вечно

болен лихорадкою деятельности; часто он в сущности делает *ничего*, в отличие от москвича, который *ничего не делает*, но «ничего» петербургского жителя для него самого всегда есть «нечто»; по крайней мере он всегда знает, из чего хлопочет. Москвичи, бог их знает, как нашли тайну все на свете делать так, как в Петербурге отдыхают или ничего не делают. В самом деле, даже визит, прогулка, обед – все это петербуржец исправляет с озабоченным видом, как будто боясь опоздать или потерять дорогое время; и на все это решается он не всегда без цели и без расчета. В Москве даже солидные люди молчат только тогда, когда спят, а юноши, особенно «подающие о себе большие надежды», говорят даже и во сне, а потом даже иногда печатают, если им случится сказать во сне что-нибудь хорошее, – чем и должно объяснять иные литературные явления в Москве. Петербуржец, если он человек солидный, скуп на слова, если они не ведут ни к какой положительной цели. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, приветливо; москвич всегда рад заговорить и заспорить с вами о чем угодно, и в разговоре москвич откровенен. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, но как-то холодно и осторожно; если разговорится, то о предметах самых обыкновенных; серьезно он говорит только о службе, а спорить и рассуждать он ни о чем не любит. По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром; по лицу петербуржца видно, что он доволен самим

собою, если, разумеется, дела его идут хорошо. Отсюда проистекает его тонкая наблюдательность; от этого беспрестанно вспыхивает его тонкая ирония: он сейчас заметит, если ваши сапоги нехорошо вычищены или у ваших панталон оборвалась штрипка, а у жилета висит готовая оторваться пуговка, заметит – и улыбнется самодовольно... В этой улыбке, впрочем, и состоит вся его ирония. Москвич снисходителен ко всякому туалету и незамечателен вообще во всем, что касается до наружности. Прежде всего он требует, чтоб вы были – или добрый малый, или человек с душою и сердцем... При первой же встрече он с вами заспорит, и только тогда начнет иронически улыбаться, когда увидит, что ваши мнения не сходятся с мнениями кружка, в котором он ораторствует или в котором он слушает, как другие ораторствуют, и который он непременно считает за литературную или философскую «партию». Вообще всякий москвич, к какому бы званию ни принадлежал он, вполне доволен жизнью, потому что доволен Москвою, и по-своему умеет наслаждаться жизнью, потому что по-своему он живет широко, раздольно, нараспашку. В чем заключается его наслаждение жизнью – это другой вопрос. Умные люди давно уже согласились между собою, что крепкий сон, сильный аппетит, здоровый желудок, внушающие уважение размеры брюшных полостей, полное румяное лицо и, наконец, завидная способность быть всегда в добром расположении духа суть самое прочное основание истинного счастья в сем подлунном мире. Москвичи,

как умные люди, вполне соглашаясь с этим, думают еще, что чем менее человек о чем-нибудь заботится серьезно, чем менее что-нибудь делает и чем более обо всем говорит, тем он счастливее. И едва ли они не правы в этом отношении, счастливые мудрецы! Зато один вид москвича возбуждает в вас аппетит и охоту говорить много, горячо, с убеждением, но решительно без всякой цели и без всякого результата! Не такое действие производит на душу наблюдателя вид петербургского жителя. Он редко бывает румян, часто бывает бледен, но всего чаще его лицо отзывается геморoidalным колоритом, свойственным петербургскому небу; и на этом лице почти всегда видна бывает забота, что-то беспокойное, тревожное и вместе с этим какое-то довольство самим собою, – что-то похожее на непобедимое убеждение в собственном достоинстве. Петербургский житель никогда не ложится спать ранее двух часов ночи, а иногда и совсем не ложится; но это не мешает ему в девять часов утра сидеть уже за делом или быть в департаменте. После обеда он непременно в театре, на вечере, на бале, в концерте, в маскараде, за картами, на гуляньи, смотря по времени года. Он успевает везде, и как работает, так и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, как будто боясь, что у него не хватит времени. Москвич – предобрейший человек, доверчив, разговорчив и особенно склонен к дружбе. Петербуржец, напротив, не говорлив, на других смотрит с недоверчивостью и с чувством собственного достоинства: ему как будто

все кажется, что он занят или деловыми бумагами, или играет в преферанс, а известно, что важные занятия требуют внимания и молчаливости. Петербуржец резко отличается от москвича даже в способе наслаждаться: в столе и винах он ищет утонченного гастрономического изящества, а не разлитого моря. В обществе он решится лучше скучать, нежели, предавшись обаянию живого разговора, манкировать перед чинностью и церемонностью, в которых он привык видеть приличие и хороший тон. Исключение остается за холостыми пирушками: русский человек *кутит* одинаково во всех концах России, и в его *кутеже* всегда равно проглядывает какое-то степное раздолье, напоминающее древненовгородские нравы. В Москве нет чиновников. Порядочные люди в Москве, к чести их, вне места своей службы умеют быть просто людьми, так что и не догадаешься, что они служат. Низший класс бюрократии там слывет еще под именем «приказных» и мало заметен, разумеется, для тех, кто не имеет до них дела, и зато, разумеется, тем заметнее для тех, кому есть до них нужда. Военных в Москве мало: притом, многие из них являются туда на время, в отпуск. Словом, в Москве почти не заметно ничего официального, и петербургский чиновник в Москве есть такое же странное и удивительное явление, как московский мыслитель в Петербурге. Хотя москвич вообще оригинальнее и как будто самобытнее петербуржца, однако, тем не менее, он очень скоро свыкается с Петербургом, если

переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург в этом отношении пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекся водоворотом призрачной жизни, умел сберечь и душу и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, – тому смело можете вы протянуть руку, как человеку... Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала, кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, – и вы остаетесь, может быть, с тяжелою грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! Самые обольстительные из них не стоят в глазах *дельного* (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина, и притом плодотворная в будущем...»

Остальные четыре статьи составляют *практическую* и, следовательно, главнейшую часть книги. Лучшие из них – «Петербургский дворник» В. И. Луганского и «Петербургские углы» г. Некрасова. Первая есть мастерской очерк, сделанный художнической рукою, одного из оригинальнейших явлений петербургской жизни, лица мало известного в Москве и совсем неизвестного в провинции. Это одно из

лучших произведений В. И. Луганского, который так хорошо знает русский народ и так верно схватывает иногда самые характеристические его черты. Одна газета, – не надо говорить какая, – изъявила свое неудовольствие, что дворник Григорий дождался чести видеть себя предметом литературного изображения: ^[1] пусть эта аристократическая газета толкует о чиновниках, – а мы будем читать «Дворника» В. И. Луганского, – тем более что его нескучно прочесть и во второй и в третий раз, – как это мы узнали на опыте. Выпишем что-нибудь из него:

«Чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников перебоем; первый дворник метет размашисто всех их сряду по ногам. Они поочередно подпрыгивают через метлу; один, однакоже, миновав опасность, останавливается и бранится.

Дворник продолжает свое дело, будто не слышит, и ворчит после про себя, но так, что через улицу слышно: а обойти не хочешь? нешто глаз во лбу нету? Другой дворник, для которого собственно острое словцо это было пущено, смеется и, выпрямившись, засучивает несколько рукава, шаркнув себя локтем по боку, передает черную масляную ветошку для отдыха из правой руки в левую, а освободившегося рукою почесывает голову.

Порядочно одетый человек останавливается у ворот дома, смотрит на надпись и, оглядываясь, говорит: «эй, любезный, где здешний дворник?»

Григорий молчит, будто не слышит; тот повторяет вопрос свой погромче и понастойчивее.

– Там, спросите во дворе.

Господин уходит под ворота: второй дворник, Иван, смеется. – Ты что ж не отозвался?

– Много их ходит тут! – отвечает первый и продолжает мести.

В это время извозчик, на выездах, проезжает шагом, дремля бочком на дрожках: лошадь разбитая, дрожки ободранные, кожа между крыльями прорвана, из-под подушки кругом торчит сено; гайка сваливается с колеса.

Дворник с метлой глядит несколько времени вслед за извозчиком, потом выходит на средину улицы, подымает гайку и кладет ее в карман. Колесо с дрожек соскочило, извозчик чуть не клюнул носом в мостовую, соскакивает, останавливая лошадь, оглядывается кругом и бежит назад. Увидав дворника на пути со средины улицы к плитняку, обращается к нему: «ты, что ли, поднял, дядя?»

– Кого поднял?

– Да гайку-ту; отдай, пожалуйста!

– А ты видел, что ли?

– Да чего видел? отдай, пожалуйста!

– Отдай! что я тебе отдам? ты бы сперва двугривенный посулил, а там бы говорил отдай.

Спор становится понемногу жарче: извозчик сперва просит, там божится, что у него нет ни пятака, что он только вот выехал, потом пошла брань и крик, в

котором, кроме обычных приветствий, слышно только с одной стороны: «Отдай, я тебе говорю, отдай!» а с другой: «Что я тебе отдам? да ты видал, что ли?» С этим воинственным криком неприятели друг на друга наступают: дворник Иван, с помазком в руке, пользуется приятным зрелищем и, улыбаясь, отдыхает от трудов; народ начинает собираться, образуя кружок. Какой-то дюжий парень также останавливается и, узнав, в чем дело, говорит извощику: «Да ты что горло дерешь, толкуешь с ним, с собакой? ты в рыло его, а я поддам по затылку». И едва это было сказано, как и тот и другой, будто по команде, в один темп, исполнили на деле это дельное увещание.

Народ кругом захохотал. А оглушенный неожиданным убеждением строптивый Гришка, потряхнув слегка головой, достал гайку из кармана шароваров и отдал извощику с советом: не терять ее в другой раз, а то-де ину пору и не воротишь; иной и не отдаст; а за нее в кузнице надо заплатить целковый, да еще накланяешься, да напросишься: вашего брата там много!

Зрители, натешившись этим позорищем, разошлись своим путем, оглядываясь по временам назад; извощик надел колесо, навернул гайку и во все это время бранился. Дворник Григорий принялся опять за метлу и ограничился повторением того же дружеского совета. Дворник Иван подшучивал, смеючись слегка над товарищем: «Извощику-то ты что ж так спустил! Эка, здоров кистень у парня-то?»

В это время господин, проискав дворника по пустякам во дворе, вышел опять из-под ворот и обратился к нашему приятелю довольно настойчиво: – Да ты, что ли, здешний дворник, эй!

– А вам кого надо?

– Титулярного советника Былова.

– На левую руку под ворота, в самый вверх, двери на левой руке.

– Так что ж ты не сказал мне давеча, как я спрашивал тебя? ведь ты дворник здешний?

– Дворник! мало ли дворников бывает! у других, у хороших хозяев, человека по три живет; это наш только вот на одном выезжает.

Посетитель должен был принять эту логику особого разбора за ответ, пожал плечами и пошел по указанию».

Как все это верно, каким добродушным и грациозным проникнуто юмором! Кстати: читали ли вы «Денщика» В. И. Луганского? Это прелесть!^[2]

«Петербургские углы» г. Некрасова отличаются необыкновенною наблюдательностью и необыкновенным мастерством изложения. Это живая картина особого мира жизни, который не всем известен, но тем не менее существует, – картина, проникнутая мыслию. Упомянутая выше газета выписала из этой статьи три строки и всю статью обвинила в грязи: любопытно было бы нам услышать суждение этой газеты о романе «Счастье лучше богатства», который со- оружен совокупными трудами гг. Полевого и Булгарина и

напечатан в «Библиотеке для чтения» нынешнего года. Там, видно, все чисто – даже и описание подземных тайн винных откупов... Но бог с ней, с этой газетою... Лучше выпишем что-нибудь из «Углов»:

«Послышался странный стук в двери, сопровождаемый страшным мурныканьем.

– Ну, барин! – воскликнул дворовый человек.

– Будет потеха: учитель идет!

– Что за учитель?

Дверь отворилась настежь и, ударившись об стену, оглушительно стукнула. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки: так называю я на первый случай господина в светлозеленой в рукава надетой шинели, без воротника: воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году. Между людьми, которых зовут пьющими, и настоящими пьяницами – огромная разница. От первых несет вином только в известных случаях, и запах бывает сносный, даже для некоторых не чуждый приятности: такие люди, будучи большею частью тонкими политиками, знают испытанные средства к отвращению смрадной резкости винного духа и не забывают ими пользоваться. Употребительнейшие из таких средств: гвоздика, чай (в нормальном состоянии), гофмановы капли, пеперменты, фиалковый корень, наконец, лук, чеснок. От вторых несет постоянно, хоть бы они неделю

не брали в рот капли вина, и запах бывает особенный, даже, если хотите, не запах – как будто вам под нос подставят бочку из-под вина, которая долго была заткнута, и вдруг ототкнут. Такой запах распространился при появлении зеленого господина – я понял, что он принадлежит ко второму разряду. Всмотриваясь пристально в лицо его, я даже вспомнил, что оно не вовсе мне незнакомо. Раз как-то я проходил мимо здания, с надписью «питейный дом».

У входа, растянувшись во всю длину, лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами; глаза его были закрыты: он спал; горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся, страшно измятом лице фантастические узоры; тысячи мух разгуливали по лицу, кучей теснились на губах, и еще тысячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очереди... Долго с тяжким чувством (вы уж знаете, что у меня чувствительное сердце) смотрел я на измятое лицо, и оно глубоко врезалось в мою память. Теперь он был одет несколько иначе и казался немного старше. Кроме шинели, разодранной сзади, по среднему шву, четверти на три, одежду его составляли рыжие сапоги с заплатами в три яруса, и что-то грязно-серое выглядывало из-под шинели, когда она случайно распахивалась. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят. Лицо его не имело ничего особенного: желто, стекловидно, морщинисто; на подбородке несколько бородавок, которые в медицине называются мышевидными, с рыжими, завившимися

в кольцо волосами, какие отпускают на бородавках для счастья дьячки и квартальные; на носу небольшой шрам; глаза мутные, серые, волосы (странная вещь!) черные, густые, почти без седины; так что их можно было бы назвать даже очень красивыми, если бы не две-три небольшие, в грош величины, плешинки, виною которых, очевидно, были не природа, и не добрая воля. Но вообще вся фигура зеленого господина резко кидалась в глаза. В нем было что-то такое, что уносит с собою актер в жизнь от любимой хорошо затверженной роли, которую он долго играл на сцене. В самых смешных и карикатурных движениях, неизбежных у человека, нетвердого на ногах, замечалось что-то степенное, что-то вроде чувства собственного достоинства, и, говоря с вами даже о совершенных пустяках, он постоянно держал себя в положении человека, готового произнести во всеуслышание, что добродетель похвальна, а порок гнусен. От этих резких противоречий он был чрезвычайно смешон и возбуждал в дворовом человеке страшную охоту над ним посмеяться.

Дворовый человек встретил его обычным своим приветствием:

– Здравствуй, нос красный!

Казалось, зеленый господин хотел рассердиться, но гневное слово оборвалось на первом звуке; сделав быстрое движение к штофу, он сказал очень ласково:

– Здравствуй, Егорушка. Налей-ка мне рюмочку!

Дворовый человек, украдкой налил стакан водою из

стоявшей на столе глиняной кружки и подал зеленому господину. Зеленый господин выпил залпом. Дворовый человек и Кирьяныч страшно захохотали. Зеленый господин с минуту стоял неподвижно, разинув рот, со стаканом в руке и начал сильно ругаться.

– Ты, брат, со мною не шути! кто тебе позволил со мною шутить? Меня и не такие знали, да со мной не шутят. Вот и сегодня у одного был... Действительный, брат, и кавалер... слышишь ты, кавалер... тебя к нему и в прихожую-то не пустят. А меня в кабинет привели. «Жаль мне тебя, говорит, Григорий Андреич (слышишь, по отчеству называл!), совсем ты пьянчужой стал; смотри, сгоришь ты когда-нибудь от вина, говорит. Не того, говорит, я от тебя ожидал... Садись, говорит, потолкуем о старине... И графинчик велел принести... Вот я и заговорил... Знаю о чем говорить: с Измайловым был знаком... к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал... Не знаешь ты, великий был человек!.. вместе и чай, и обедали, и водку-то пили... Да и сам я, ты, брат, со мной не шути... у меня, брат, знаешь какие ученики есть... вот один... у, какой туз!.. А мальчишкой был... кликну, бывало, сторожа, да и ну... никаких оправданий не принимал... Вот мы все с ним вспоминаем, смеемся... «И хорошо» говорит: «вот от того я теперь и в люди пошел» говорит: «что вы меня за всякую малость пороли... я вас» говорит: «никогда не забуду», да и сует в руку мне четвертак... «Смолоду» говорит: «человека надобно

драть, под старость сам благодарить будет»... Знаешь, как мне, братец, платили... А ты, ты... вот, поди, служить! *по пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день*... Таланты разные имел: нюхал, брат, не из такой (он щелкнул по берестяной табакерке)... золотая была... да было и тут... один палец, брат, восемьсот рублей стоил. А все ни за что: так – за стихи!.. я, брат, какие стихи сочинял!

Зеленый господин так заинтересовал меня своим рассказом, что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он немного прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное училище и дело свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю чарку, но от него менее пахло вином, чем гвоздикой, и нравственность учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно. Заметили, что с некоторого времени, при появлении зеленого господина, в классе распространялся запах, который мог подать вредные примеры ученикам. Наконец, к довершению бед, зеленый господин пришел однажды в класс не только без задних ног, но и без галстука и вместо того, чтоб поклониться главному лицу училища, которое вошло в класс и село на краю одной из скамеек,

занимаемых учениками, обратился к нему с вопросом:

– А какие глаголы принимают родительный падеж?.. а, не знаешь? А вот я тебя на колени!

Его отставили и место его отдали молодому человеку, который в полной мере оправдал честь, ему оказанную: не пропускал классов, был почтителен к старшим и, женившись вскоре на сестре главного лица, совершенно отказался от треволнений, неразлучных с холостой жизнью. Зеленого господина отставили, но, по ходатайству одного доброго человека и в уважение прежних заслуг, дали ему небольшой пенсiон. Остальное понятно: бездействие скоро усилило в нем страсть к вину, и нечувствительно дошел он до того положения, в котором мы с ним познакомились. Интересна жизнь, которую вел он в подвале. Еще за несколько дней до первого числа каждого месяца хозяйка неотступно следовала за ним и так приноравливала, что накануне первого числа он всегда напивался дома. Поутру она отправлялась с ним за «получкой», вычитала следующие ей деньги, а с остальными зеленый господин уходил бог знает куда и пропадал на несколько дней. Возвращался пьяный, нередко избитый, в грязи и без гроша. В остальные дни месяца он почти ежедневно обходил прежних своих товарищей по службе, учеников, которые теперь уже были взрослые люди, наконец всех, кого знал в лучшую пору жизни; везде давали ему по рюмке вина, инде по две; где же не давали, оттуда уходил он с проклятиями и долго потом, лежа на своих

нарах, сердито толковал сам с собою о неблагодарности. Что ж касается до стихов, то очень немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи: в русском государстве все пишут или писали стихи и писать их никому нет запрета. Впрочем, последний пункт своего рассказа зеленый господин не замедлил подтвердить доказательствами. Он вытащил из-за сапога две тощенькие лоснящиеся брошюры в 12-ю долю листа, уставил их перед глазами дворового человека и, поводя указательным пальцем со строки на строку заглавной страницы, говорил торжественно:

– Видишь, видишь, видишь... а?.., видишь ли?

Но дворовый человек с негодованием оттолкнул брошюры и возразил с жаром, доказывавшим, что в нем говорит убеждение:

– Ты мне этим не тычь! Что ты мне этим тычешь! Я, брат, не дворянин: грамоте не умею. Какая грамота нашему брату? грамоту будешь знать – дело свое забудешь... А вот ты мне награждение-то покажи! Что, небось, потерял али подарил кому... ты ведь добрейший?... сам не съешь, да другому отдашь. Знаю я... кто наемдни у меня ситник-от съел?

– Продал, так и нет, – отвечал зеленый господин с меланхолической грустью. – Где нюхать нашему брату из золотой табакерки, на пальцах самоцветные камни иметь!

Он махнул рукою и отравил последнюю струю чистого воздуха продолжительным вздохом.

Между тем я взглянул на брошюры. Одна из них

была на всерадостный день тезоименитства какого-то важного лица тех времен, другая на бракосочетание того же лица. Обе были написаны высокопарными стихами и заключали в себе похвалы важному лицу, которое поэт называл меценатом. Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время, потому что русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи, и пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение; зато его и хлебом кормили, а за неустойку больно били палкою. Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал тростью за то, что Тредьяковский не изготовил *оды* на какой-то придворный праздник. Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того во время его походов всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли, и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; зато они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его допьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и

«милостивцами». В начале XIX-го столетия этот род литературы начал заметно упадать; 1812-й год нанес ему сильный удар, а романтизм, появившийся с двадцатых годов, решительно доконал его. И теперь эта «торжественная» поэзия считается уже синонимом «подлому стихотворству». Так изменяются нравы. Теперь уже за листок дурных виршей, наполненных высокопарною, бессмысленною и низкою лестью, нельзя от какого-нибудь барина получить на водку перстенок, табакерку, 50 или 100 руб. денег, – и еще менее можно приобрести звание поэта! Вероятно, это одна из причин, почему старички, запоздалые остатки доброго старого времени, так сердиты на наше время, с таким восторгом и с такою грустью вспоминают о своем времени, когда, по их словам, все было лучше, чем теперь.

– Ерунда¹, – сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался. – Охота вам руки марать!

– Ерунда! – повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо. – Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть... Я читал, а он нюхал табак и говорит: «понюхай». Не нюхаю, говорю, да уж из табакерки вашего превосходительства. «Нюхай! – говорит, – ученому нельзя не нюхать» и отдал мне табакерку... С тех пор и начал я нюхать. Велел приходиться к обеду... посмотрел бы ты, как

¹ Лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь.

меня принимали... всякий гость обнимал... а какие все гости... даже начальник его превосходительства поцеловал... я после и ему написал... Напился пьян... говорю, как с равными, они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает... Ерунда!

И что-то похожее на чувство мелькнуло в глазах зеленого господина, и долго с поднятою рукою стоял он посреди комнаты и вдруг качнул головой и сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвений:

– Налей, брат, мне, Егорушка, рюмочку!»

«Петербургские шарманщики» г. Григоровича – прелестная и грациозная картинка, нарисованная карандашом талантливого художника. В ней видна наблюдательность, умение подмечать и схватывать характеристические черты явлений и передавать их с поэтической верностью. Г. Григорович – молодой человек и только что начинает писать. Такое начало подает хорошие надежды в будущем.

«Петербургская сторона», статья г. Гребенки, показалась нам несколько растянутою; тем не менее в ней есть черты, верно и удачно схваченные из действительности, и она читается с удовольствием.

Картинки к «Физиологии Петербурга» рисованы гг. Тиммом, Коврыгиным и Жуковским, и большею частию замечательно хороши. Издание вообще красиво. Скоро должна выйти и вторая часть «Физиологии Петербурга».

Физиология Петербурга,

*составленная из трудов русских литераторов,
под редакцию И. Некрасова. (С политипажжами.)
Часть II. Санкт-петербург. Издание книгопродавца
А. Иванова, 1845. В тип. Эдуарда Праца. В 8-ю д. л.
276 стр.*

Лето – всегда глухая пора в русской литературе. Тут обыкновенно даже и журналы как будто устают, истощаются, делаются вялыми, даже тонеют, за исключением разве «Отечественных записок», на здоровую толстоту которых не действуют и летние жары. Но оригинальных русских повестей уже не ищите в эту пору ни в одном журнале. Если найдется хоть одна какая-нибудь плохонькая, то и ею журналист запасся еще с зимы. Наши романисты и нувеллисты вообще не заслуживают ни малейшего упрека в изящной деятельности или многописании. Мало пишут они зимою и осенью, почти не пишут и весною, какова бы ни была весна в Петербурге, хотя бы хуже самой дурной осени; но летом – пусть оно будет хуже самой дурной зимы, они ни за что в свете не станут писать. Да и когда? – Они на даче, они наслаждаются прелестями петербургского лета, гуляют по лужам, в которых отражается небо, тоже похожее на лужу; или с горя играют в преферанс. Сверх того, русский человек, как известно, тяжел

на подъем. Для того, чтоб приняться за работу, ему нужно гораздо больше времени, нежели кончить ее. Русскому литератору никогда не понять досужести французских писателей, которые успевают бывать на балах, на гуляньях, в театрах, в заседаниях ученых обществ, присутствовать в заседаниях палаты депутатов и при этом иногда управлять министерством, – и в то же время издавать многотомные истории. Французский литератор едет на лето из Парижа в деревню, отдохнуть, полениться, повеселиться; а в Париж из деревни привозит с собою несколько рукописей, издание которых, по объему, иногда может сравняться с полным собранием сочинений самого деятельнейшего русского литератора. Как они это делают – русский человек – я этого решительно не понимаю, и никогда не пойму. Говорят, будто бы это происходит оттого, что труд и занятие составляют для европейца такое же необходимое условие жизни, как воздух, – нет, больше, чем воздух – как лень и бездействие для русского человека. Говорят, будто бы для европейца и самый отдых есть только несколько ослабленная деятельность, потому что для него быть вовсе без занятия, без дела, без труда, значит – не жить, и будто бы уж он так приучается с малолетства... Не знаем, правда ли это. Должно быть, неправда! *Славны бубны за горами*: не так ли, читатель? Как русский человек, вы, верно, махнете рукою, повторив эту чудесную поговорку, благодаря которой вам можно ничего не делать, живя на белом свете? Благодетельная поговорка! вечная память тому, кто изобрел

ее: с нею жизнь так проста, ни к чему не обязывает – ни к труду, ни к самосовершенствованию...

Но нынешний год, как нарочно, Петербург посетило такое лето, о каком он и мечтать не смел, помня, что на святой неделе, которая была во второй половине апреля, он ездил на санях... Сухое и теплое, почти жаркое лето, каково нынешнее, должно бы быть порою совершенной засухи для литературной деятельности. Кого теперь засадишь за дело! И чем бы можно было засадить? – разве голодом! Пора теперь глухая: у книгопродавцев, как говорят они, летом ни копейки, потому что русская публика летом книг не покупает, да и в городе никого теперь не найдешь – всё и все на дачах. Только журналисты и журнальные сотрудники и теперь, хоть и стонут, а работают; для них нет каникул, как для полицейских и извозчиков нет праздников. Поэтому в нынешнее лето нечего бы и ожидать появления чего-нибудь похожего на сносную книгу. Но вышло иначе: весной появились – «Тарантас», «Вчера и сегодня» и первая часть «Физиологии Петербурга», в июне, среди лета, началось издание романов Вальтера Скотта «Квентином Дорвардом», а теперь вышла вторая часть «Физиологии Петербурга». Но все это совсем не весенние и не летние произведения, а запоздалые зимние. Известное дело: на Руси все делается без торопливости и с проволочкою. Об иной тяжбе каждый день говорят: завтра решится; а глядишь, это «завтра» тянется лет пятьдесят, иногда и больше. Так точно об иной книге полгода твер-

дят: на-днях выйдет; сам издатель крепко убежден в этом, а между тем книга, обещанная в январе, глядишь, появляется в июле, и притом не всегда того же года. Как и отчего это делается – бог знает!.. Да и то ли еще дельвалось у нас! Бывало, журналист объявляет к новому году подписку на свой журнал, с обещанием *в скорейшем времени* добавить пять книжек за предпрошлый и семь книжек за прошлый год, – для чего, говорит он, приняты им самые деятельные меры; а глядишь: в февральской книжке, например, 1844 года, являются моды и политические известия за июль 1842 года...^[3] Теперь в журналистике снова воскресают милые, пасторальные и наивные обычаи старины. Недавно один плохой журнал, издававшийся уже года три, и только в конце третьего года догадавшийся о себе, что он никуда не годится, – принял благое намерение исправиться на 1845 год, то есть сделаться умным, дельным и интересным. Пышная программа, с обещанием коренной реформы, вышла в свет затем, чтобы журнал мог в четвертый раз поймать в силки «почтеннейшую» публику. И в самом деле, первые три книжки были и пограмотнее и будто подельнее, но с четвертой дело пошло прежним порядком, а реформы нет и следов, так же как и следов таланта или смысла... Пятая же книжка отличилась одною из тех старых новостей, к которым, впрочем, этот журнал прежде не прибегал; но, видно, ему пришлось плохо, потому что «почтеннейшая»-то не допустила в четвертый раз поймать себя, вполне удовлетворившись тремя первыми ра-

зами: на пятой книжке выставлены числа V и VI, в знак того, что эту книжку, которая, несмотря на чудовищную толстоту бумаги, вышла как-то тоньше первых четырех, должно считать за две книжки... Обертка извещает, что таким же точно образом выйдет и шестая книжка, которую подписчики этого журнала (поделом им – пусть не подписываются вперед на плохие журналы!) волею или неволею, а должны принять за седьмую и восьмую... Все это делается для того, чтоб не отстать от времени, которое, как известно, имеет преглупую привычку итти да итти себе, не дожидаясь отсталых книжек плохих журналов. ... Поистине, легкий, дешевый и выгодный способ не только не отставать от времени, но и опережать его!..^[4] Итак, вторая часть «Физиологии Петербурга» должна одна составить собою всю собственно русскую летнюю литературу нынешнего года... нет – чуть было не забыли! – нынешнее лето необыкновенно богато книгами беллетрического содержания; недавно вышел третий том «Ста русских литераторов». Книга, как сами можете видеть из ее названия, столько же важная, сколько и толстая; из трудов целой сотни литераторов, хотя бы и русских, можно выбрать много хорошего, много такого, что может эту книгу сделать представительницею русской литературы. Итак, еще раз, да здравствует лето 1845 года! Сухое, теплое, бездождливое, оно оставило нас вовсе без грибов, но зато наделило книгами. О «Ста русских литераторах» мы скоро поговорим подробнее, а пока остановимся на второй части «Физиоло-

гии Петербурга».^[5]

Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманах, или сборник статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько *описательные*, сколько *живописные*, нечто вроде повестей и очерков, а иногда и взглядов, изложенных в форме журнальной статьи, местами серьезных, но всегда оттененных легким юмором. Цель этих статей – познакомить с Петербургом читателей провинциальных и, может быть, еще более читателей петербургских. Как достигнута цель? – На этот вопрос трудно было бы отвечать утвердительно. Не должно забывать, что «Физиология Петербурга» первый опыт в этом роде, явившийся в такое время русской литературы, которое никак нельзя назвать богатым. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучший из всех альманахов, которые когда-либо издавались, – потому едва ли не лучший, что, во-первых, в нем есть статьи прекрасные и нет статей плохих, а во-вторых, все статьи, из которых он состоит, образуют собою нечто целое, несмотря на то, что они написаны разными лицами. Первая часть «Физиологии Петербурга» имела большой успех. И не удивительно: статьи «Дворник» и «Петербургские углы» могли бы украсить собою всякое издание; статья «Петербургские шарманщики» не испортила бы никакого издания; что касается до статьи «Петербург и Москва», ее прочли все, многие оценили выше, нежели чего она стоит в самом деле, а многие не хотели заме-

тить в ней того хорошего, что в ней есть действительно, хотя и видели его: это, по нашему мнению, успех. Замечательнее всего отзывы журналов о «Физиологии Петербурга». Одна газета выписала из статьи «Петербург и Москва» пять строк, заключающих в себе мысль одного великого немецкого философа, назвала эту мысль вздорною и нелепою, а вместе с нею и всю статью. Таким же точно образом выписала она несколько строк из «Петербургских углов» и коротко, без изложения содержания статьи, без доказательств, объявила, что статья плоха, исполнена сальностей, грязи и дурного тона. «Дворник» – этот превосходный физиологически-юмористический очерк, оскорбил в газете аристократическое чувство и заставил ее подивиться, что есть писатели, которые не гнушаются писать о дворниках!^[6] Но никакой истинный аристократ не презирает в искусстве и литературе изображения людей низших сословий и вообще так называемой низкой природы, – чему доказательством картинные галереи вельмож, наполненные, между прочим, и картинами фламандской школы. Уже нечего и говорить о том, что люди низших сословий прежде всего – люди же, а не животные, наши братья по природе и о Христе, – и презрение к ним, особенно изъясняемое печатно, очень неуместно. Хорош также отзыв одного журнала о первой части «Физиологии Петербурга». Хотелось ему обнаружить к ней равнодушное презрение, да не удалось выдержать притворного тона:

из каждого слова так и видно, что *bon homme*² сердится. Хотелось ему также и сострить à la барон Брамбеус, да вместо остроу у него вышло как-то ложное обвинение в преступлении; натура-то сказала! В предисловии к первой части «Физиологии Петербурга», между прочим, сказано, что у нас, в литературе, более хороших произведений, ознаменованных печатью художественности, нежели хороших беллетристических произведений, – более гениальных талантов (как, впрочем, ни мало их), нежели обыкновенных талантов, которых деятельность удовлетворяла бы насущным потребностям читающей публики. Журнал, о котором мы говорим, выдумал, будто бы в предисловии сказано, что у нас все таланты, а нет посредственности, и что «Физиология Петербурга» решилась сделаться сборником посредственных статей. Из этого видно, что бедный журнал нездоров и страдает разстройством печени. И не мудрено: его давно уж не читают и, чтоб привлечь к себе подписчиков, он решился из *одной* своей книжки делать иногда *две* книжки, выставляя на обертке по две цифры. Слог остроумной статьи о «Физиологии Петербурга» напоминает свою несвязность, сухостью и бесталанностью статью того же журнала о поэме г. Тургенева – «Разговор», где это прекрасное произведение напоявал разругано за то, что оно написано не в славянофильском духе, – а слог статьи о «Разговоре» напоминает собою слог брошюрки о «Мертвых душах», которая, года три назад, на-

² Добряк, славный малый. – *Ред.*

смешила весь читающий мир нелепостью мыслей и бездарностью изложения.^[7] Разумеется, за подобные статьи издателью «Физиологии Петербурга» остается только благодарить и газету и журнал, потому что, прочитав такую статью, опытный читатель сейчас поймет, в чем дело, и захочет прочесть книгу, о которой намереваются писать хладнокровно, а пишут с сердцем, и скажет: *Tu te faches, Jupiter, done tu as tort.*³

Вторая часть «Физиологии Петербурга» содержит в себе статьи: «Александринский театр», «Чиновник», «Омнибус», «Петербургская литература», «Лотерейный бал», «Петербургский фельетонист». Самая лучшая из них – «Чиновник»; самая слабая – «Петербургская литература». Последняя могла бы незаметно пройти в журнале, даже иметь в нем какое-нибудь значение; но в книге она как-то неуместна. «Чиновник» – пьеса в стихах, г. Некрасова, есть одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своею верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме, так что никакой, самый предприимчивый критик, не зацепится ни за одну черту, которую мог бы он похулить. Пьеса эта написана в юмористическом духе и верно воспроизводит одно из самых типических лиц Петербурга – *чиновника*:

Как человек разумной середины,
Он многого в сей жизни не желал:

³ Ты сердисься, Юпитер, следовательно ты неправ. – *Ред.*

Перед обедом пил настойку из рябины
И чихирем обед свой запивал.
У Кинчерфа заказывал одежду,
И с давних пор (простительная страсть!)
Питал в душе далекую надежду
В коллежские ассесоры попасть —
Затем, что был он крови не боярской
И не хотел, чтоб в жизни кто-нибудь
Детей его породой семинарской
Осмелился надменно попрекнуть.

.....

.....

Сирот и вдов он не был благодетель,
Но нищим иногда давал гроши
И называл святую добродетель
Первейшим украшением души.
Об ней твердил в семействе беспрерывно,
Но не во всем ей следовал подчас
И извинял грешки свои наивно
Женой, детьми, как многие из нас.
По службе вел дела свои примерно
И не бывал за взятки под судом,
Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.
И радовал родительскую душу
Сей прочный дом – спокойствия залог.
И на Фому, Ванюшу и Феклушу
Без сладких слез он посмотреть не мог...

.....

.....

В неделю раз, пресытившись игрой,
В театр Александрынский, ради скуки,
Являлся наш почтеннейший герой.
Удвоенной ценой за бенефисы
Отечественный гений поощрял.
Но звание актера и актрисы
Постыдным по преданию считал.
Любил пальбу, кровавые сюжеты,
Где при конце карается порок...
И слушая скоромные куплеты,
Толкал жену тихонько под бочок.
Любил шепнуть в антракте плотной даме —
(Всему научит хитрый Петербург) —
Что страсти и движенье нужны в драме
И что Шекспир – великий драматург, —
Но, впрочем, не был твердо в том уверен
И через час другое подтверждал;
По службе быв всегда благонамерен,
Он прочее другим предоставлял,
Зато, когда являлася сатира,
Где автор – тунеядец и нахал —
Честь общества и украшение мира
Чиновников за взятки порицал, —
Свирепствовал он, не жалея груди,
Дивился, как допущена в печать
И как благонамеренные люди
Не совестятся видеть и читать.
С досады пил (сильна была досада!)

В удвоенном количестве чихирь,
И говорил, что авторов бы надо
За дерзости подобные – в Сибирь!..

Выписывая эти места, мы выбирали не то, что лучше, а то, что короче, следовательно, читатели вполне могут судить по этим выпискам о целой пьесе. Найдутся люди, которые, пожалуй, скажут: «Что за предмет! и как можно восхищаться пьесой, которая изображает такой предмет!» Таких людей мы отсылаем к сочинениям Марлинского, которые изображают все предметы высокие и колоссальные. Что же касается до нас, мы ценим литературные произведения прежде всего по их выполнению, а потом уже и по их содержанию, предмету и цели. Последнее необходимо иметь в виду особенно при сравнении двух одинаково хорошо выполненных произведений, чтоб определить их относительную друг к другу ценность. Поэтому для нас одна из лучших басен Крылова лучше всех трагедий Озерова, хотя и трагедии эти имеют свое достоинство; но лучшей из басен Крылова нельзя по важности равнять, например, с «Онегиным» Пушкина: тут огромная, неизмеримая разница в достоинстве «Онегина» пред баснею, – и эта разница заключается в содержании, в предмете, а не в форме, или, лучше сказать, выполнении. Так как мы не имеем в виду сравнивать «Чиновника» г. Некрасова ни с каким известным произведением, то и скажем просто, что эта пьеса – одно из лучших произведений русской

литературы 1845 года. – Из прозаических статей лучшая во второй части «Физиологии Петербурга» – статья г. Панаева «Петербургский фельетонист». Она уже была напечатана в «Отечественных записках»; но здесь перепечатана несколько переправленная и пополненная, – от чего она много выиграла в достоинстве. Она очень идет к «Физиологии Петербурга», потому что верно изображает одно из самых характеристических петербургских явлений. Есть у г. Панаева еще статья «Тля», напечатанная в «Отечественных записках» 1843 года, которая так и просится в «Физиологию Петербурга», – и если б к ней можно было сделать картинки получше, то она произвела бы сильный эффект, хотя и была бы уже не новым произведением. – «Лотерейный бал» г. Григоровича – статья не без занимательности, но, кажется, слабее его же «Шарманщиков», помещенных в первой части «Физиологии». Она слишком сбивается на дагерротип и отзывается его сухостью. – «Омнибус» г. Кульчицкого (Говорилина) – статья совершенно дагерротипическая, верный список с случая, не лишенный занимательности. Ее упрекают многие за сальность в изображении беспрестанно рыгающего купца-бороды. По нашему мнению, писатель, изображающий действительность, только в двух случаях может впадать в сальность и грязность: или когда он сам тем более восхищается своими картинами, чем грязнее они, – по своей личной любви ко всему грязному; или, когда он впадает в противоположную крайность, и чересчур резким изобра-

жением грязи, не смягченным художественностью выражения, старается выразить свое отвращение от грязи. Последнее нередко бывает с людьми, которых чувства и образованность выше таланта. Может быть, в этом отношении г. Кульчицкий немножко и погрешил против вкуса в своем «Омнибусе»; но все-таки его *купец-борода* и его *герой* очень похожи на действительных людей этого разряда, – и потому «Омнибус» для нас все-таки много лучше множества произведений с изображениями великих и колоссальных предметов, а *купец-борода* и *герой* в тысячу раз интереснее *Греминых*, *Звонских*, *Лидиных*, *Зоричей* и тому подобных так называемых «идеальных» созданий». [81] – В статье: «Александринский театр» собрано все, что уже было говорено и сказано нового об этом театре, – так что теперь едва ли уже можно сказать о нем что-нибудь, чего уже не было бы сказано. Особенно любопытно в этой статье сравнение петербургского русского театра с московским, в отношении к их артистам.

В заключение скажем, что такая книга, как «Физиология Петербурга», была бы замечательным явлением, и не будучи первым опытом, была бы хороша и для зимнего, не только для летнего чтения.

Что касается до картинок во второй части «Физиологии Петербурга», – между ними некоторые недурны; но, в особенности, мы можем указать только на три: Александринский Театр (стр. 5), аллегорическое изображение русского водевиля, в виде удальца в мужицком платье, модном жиле-

те, модном галстукe и с стеклышком в глазу (стр. 60), и изображение *скромной девицы*, преследуемой господином с палкою (стр. 138).

Примечания

1) На часть первую: «Отечественные записки», 1845, т. XL, № 5, отд. VI, стр. 16–23 (ценз. разр. 30 апреля 1845). Без подписи.

2) На часть вторую: «Отечественные записки», 1845, т. XLI, № 8, отд. VI, стр. 45–50 (ценз. разр. около 31 июля 1845). Без подписи.

Сборник «Физиология Петербурга» (2 части) сразу привлек к себе всеобщее внимание и вызвал большое количество критических отзывов, в большинстве своем враждебных. Раньше других высказалась «Северная пчела» (1845, №№ 79, 151, 234–236), за ней последовали «Москвитянин» (1845, № 5) и «Маяк» (1845, тт. 22 и 23). В нападках на «Физиологию Петербурга» повторялись те же обвинения, которые в свое время выдвигались против «Мертвых душ»: реакционная критика увидела, что «гоголевское» направление утверждает себя в русской литературе. Эта критика отвергла не только характерную для сборника демократическую тематику, но и его идейную направленность – гуманистическое отношение к бедному, униженному человеку, задавленному нуждой.

В рецензиях Белинский давал суровый отпор всем этим нападкам и особенно выделял такие произведения, как «Пе-

тербургские углы» и «Чиновник» Некрасова, «Петербургский дворник» Даля, «Петербургский фельетонист» И. Панаева, в которых главное достоинство – «мысль, поражающая своею верностью и дельностью».

Белинский не дает здесь подробного анализа этих произведений: его рецензии имеют целью прежде всего рекомендовать читателю новую «дельную» книгу, чем и объясняются обширные цитаты, приводимые им.

Журнальная полемика, разгоревшаяся вокруг «Физиологии Петербурга», была характерна тем, что здесь впервые обсуждалось не отдельное произведение, а целая группа писателей, представляющих «новую школу». К 1845 году существование этой новой школы становится уже признанным фактом.

Комментарии

1.

Намек на фельетон Булгарина в «Северной пчеле», 1845, № 79, стр. 314–315, и рецензию Л. Бранта (Я. Я. Я.), там же, 1845, № 235, стр. 939.

2.

Очерк «Денщик» В. И. Даля (Луганского) появился незадолго до напечатания настоящей рецензии, в журнале «Финский вестник», 1845, № 2.

3.

Речь здесь идет о журнале «Русский вестник». См. примеч. 360 в наст. томе.

4.

Здесь Белинский коротко излагает историю «Москвитянина» в 1845 году. С начала года редактирование М. Погодин передал И. В. Киреевскому. Однако Киреевский не поладил с Погодиным и, выпустив три первые номера, отказался от редактирования, которое вновь взял на себя сам Погодин. Выпуск 5–6 и 7–8 книжек в сдвоенном виде был свидетельством неуклонного упадка «Москвитянина».

5.

Рецензию на третий том сборника «Сто русских

литераторов» Белинский напечатал в «Отечественных записках», 1845, № 9 (Полн. собр. соч., т. IX, стр. 492–521).

6.

См. примеч. 430 в наст. томе.

7.

«Отзыв одного журнала о первой части «Физиологии Петербурга» – рецензия, помещенная в «Москвитянине», 1845, ч. III, № 5, отд. 2, стр. 91–96, за подписью «Ъ». Статья о поэме Тургенева «Разговор» была напечатана в том же журнале (1845, ч. I, № 2, Библиография, стр. 49–53, за подписью «А»). Сопоставляя обе эти рецензии с брошюрой К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова или Мертвые души», Белинский недвусмысленно намекал, что автором их был тоже Аксаков.

8.

Гремин – герой повести А. Марлинского «Испытание», Зорич – героиня отрывка из повести Марлинского «Мечь». Лидина – героиня романа М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году».